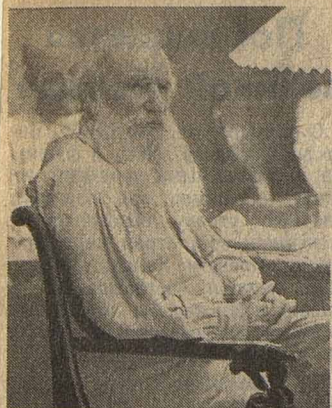




Рядом с Толстым

Заметки о новом фильме Сергея Герасимова

ВСЯКИЙ любящий Толстого (как и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя) носит в душе свой образ. Он может быть не обязательно оформлен в слова и понятия, но он есть. Отсюда свое понимание драмы его бытия — бытие каждого большого художника есть драма, а уж про Толстого с его доступными любому томам дневников и писем, с известным всем мучительным и очистительным уходом из Ясной Поляны и из жизни и говорить нечего.

Сценарист, режиссер и актер Сергей Герасимов в фильме «Лев Толстой» (Студия им. Горького) показывает итог этой великой жизни. По-видимому, вся предыдущая работа его собственной жизни была такова, что позволила духовно приблизиться к Толстому и к пониманию его. И не просто позволила, а сделала необходимым.

Что поражает в Толстом — Толстом Герасимова как художественном образе — прежде всего? Случается, что у человека с большой печенью многократно увеличен этот орган. У Толстого таким многократно увеличенным «органом» была совесть. Она болела не за то только, что совершалось в нем самом или в непосредственной близости от него, — за все дела и помыслы человеческие. Ныне у нас в ходу другое слово — ответственность. Чуть-чуть внешнее по отношению к человеку. Совесть — то, что внутри нас. Возможно, также возвращаемое, подлежащее воспитанию, в том числе самовоспитанию. Но такое, чего уже не изъять из нас: с чем живем, с тем умрем. Сегодня, когда вокруг души, особенно неопытной, незрелой, столько соблазнов легкого, бездумного, удобного, иждивенческого проживания жизни, — вопрос личной ответственности, вопрос совести стоит особенно остро. Масштаб совести и есть, собственно говоря, масштаб личности.

Вот почему вечная фигура Толстого так злободневно явилась на наш экран. Вот почему надо идти смотреть этот фильм — он не просто развлечение, а необходимая душевная работа.

Первая часть фильма называется «Бессонница». Во время бессонницы мучается душа Толстого всем, что было неправильным в его собственной жизни, всем неправедным, несправедливым вокруг. Вот цепочка размышлений, начинающаяся с истории мужика Па-

хома (написанной Толстым прежде). О том, сколько человеку земли нужно. Было сказано Пахому: сколько успеешь обжать, обмерить за день — все твое. Обужала жадность мужика, хотел как можно больше отхватить земли. А зачем? Надорвался и помер. И оказалось, что нужно-то ему было всего три аршина. Чехов на это заметил: человеку нужен весь мир. Но самого Чехова в сорок четыре года не пощадила «косая»... Так и вьется эта пепочка мыслей Толстого — о собственности, о жизни и смерти, о смысле жизни, о счастье. Духовная жажда — одно, жажда богатства и власти — совсем другое. И тщеславие пагубно. Толстой думает о властолюбии и знает, что оно пагубно. Что искуство, не освященное нравственной целью, пустое дело. И всякое знание, если оно занято самим собой и не направлено к благу людей, — то же самое. Толстой думает о голоде, о деревенской нищете, о нищете городской, которая страшнее деревенской, так как теснее связана с пороком. И не только думает — все это болит в нем, и ко всему приложены его руки, его голова и сердце. Во время голода Толстой с дочерью Татьяной устраивали в Ясной Поляне общественные столовые. Приняв участие во всероссийской переписи, Толстой посещал ночлежные дома, стремясь своими глазами увидеть самое «дно» жизни и в то же время оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждался.

Тут произошел знаменательный для Льва Николаевича эпизод с мальчиком Сережей, у которого не было крышки над головой. Взяв его с собой в Ясную и попросив, чтобы его кормили и поили, Лев Николаевич за другими делами как-то позабыл о нем. А когда вспомнил, выяснилось, что Сережа ушел. Мученье Толстого о Сереже перерастает в мученье о строительстве общества вообще. Не в том, видно, дело, рассуждает он, чтобы только накормить всех и загнать под крышу, ведь может случиться, «что каждый захочет жить так, как он хочет». Как соединить интерес всех с интересом каждого?

На важное наталкивает Льва Николаевича и случай со стражником, которого Софья Андреевна наняла охранять имение. Лев Николаевич встретил его с тесаком, спросил: «Что ж им будешь резать? Хлеб?». Или брата мужика, который тебя хлебом кормит? Тот ответил утвердительно. И причину назвал, почему: «А потому, что мне красная це-

на — шестнадцать целковых, а получаю я за должность тридцать два». «Это его рассуждение мне многое объяснило в окружающем мире», — задумчиво говорит Толстой, имея в виду и власть предрежащих и приводя в том же ряду Столыпина, чем так шокирует находящуюся в Ясной высокопоставленную гостью...

Огромный мир с его большими вопросами — социальными, классовыми, философскими — входит в интимный, внутренний мир Толстого как его важнейшая составная часть. «Я стал мучительно думать, как же дальше жить, как отплатить народу, у которого я беру так много, а даю так мало...» И крик души во время ссоры с Софьей Андреевной: «Я не хочу больше быть хозяином!»

Домашний врач и друг Толстого Душан Маковицкий (чехословацкий актер Боржевой Навротил) так формулирует суть противоречий между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной: «Ваша забота — семья, его забота — человечество».

Софья Андреевна — натура незаурядная. Искренняя, глубокая, художественно одаренная, она не была тенью своего мужа, а сама являла собой личность. Да, они разошлись в вопросах мировоззренческих. Он, с проникновением гения, ушел далеко вперед, вглубь и вдале от всех. Она в этом смысле не сумела последовать за ним. Видимо, тогда началось духовное разобщение и как результат этого — человеческое охлаждение к ней Толстого. А она как женщина, которую всю жизнь любили и которая сама всю жизнь любила, не могла перенести этого охлаждения и не умея до конца понять источник, все пыталась и не могла вернуть прежнее. Из этого проистекало ужасное чувство неудовлетворенности, выражавшееся в частых нервных стрессах, как сказали бы мы сегодня, что заставляло так страдать Льва Николаевича.

Об этих последних годах их жизни писано-переписано, сочинено-пересочинено. Но помните строчку поэта: «Я клянусь, что и это любовь была...»? Так вот, при всем том, что о причинах драмы писано и пояснено многожды, одна как бы и не принимается в расчет. А она — любовь. Любовь одной сильной натуры, желавшей заставить считаться с собой, быть понятой, к другой, занятой тем же. Любовь — вот что поразительно! И сила чувства какова! Потому моменты примирения, моменты прежней душевной бли-

зости, судя по дневникам и одного и другой, были и в этот период моментами наивысшего личного счастья. А потом — потом все начиналось сначала...

И в этом, между прочим, урок молодым. Вот таким глубоким, всеобъемлющим, полнокровным и живым может быть чувство. А трагический финал? Но любовь, даже счастливая, как и сама жизнь, может таить в себе трагедию.

Вторая часть фильма называется «Уход».

Сергей Герасимов и Тамара Макарова проявили человеческий и художественный такт, выстраивая на экране отношения тех, чьи образы они воплотили. Избрав главным героем могучую мысль Толстого и неукошительно следуя этому, помня, что перед нами итог великой жизни, они и в сценах Льва Николаевича с Софьей Андреевной дают скорее итог драмы, нежели саму драму. Оттого не горячая, не страстная (как, видимо, все-таки было в жизни), а несколько приглушенная тональность всех этих сцен. Такая точка отсчета принята, конечно же, сознательно. Толстой уходит!.. Перед этой громадной темой отступает все иное.

Уход Льва Николаевича, то есть все последние дни октября — ноября 1910 года вплоть до смерти, сняты так, что горло перехватывает.

Здесь все неспешно, все подробно, как если бы не экранный — живой человек уходил, и мы бы знали, что уже вот-вот, через несколько дней, несколько часов, несколько минут все будет кончено, и все хотели бы, чтобы длилась наша возможность побыть с ним, взглядеться, вслушаться во все, что был он. Нет, пока еще есть он. Иллюзия нашего присутствия при окончании жизни Толстого, нашего прощания с ним потрясающая. Теперь уже не за мыслью его мы следим — за ним самим, уходящим от нас навеки, и огромно наше горе. И когда Толстого уже не станет и живой рекой потянется нескончаемый поток людей, сопровождающих его гроб, в эту скорбь сотен и тысяч волеется и наша человеческая скорбь.

Фильму предшествовал эпиграф — дневниковая запись 26 октября 1907 года: «Странно, что мне приходится молчать с живущими вокруг меня людьми и говорить только с теми далекими по времени и месту, которые будут слышать меня».

С нами он говорит. Вслушайтесь, вдумайтесь в его слова и мысли, во все оставленное нам.

О. ПАВЛОВА.